**ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ СССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЕЙШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ СОВЕТСКОГО НАРОДА — БЕРЕГИТЕ ИХ!**

*

Не делайте никаких пометок и не подчеркивайте текст. Не перегибайте книгу в корешке, не загибайте углы листов.

*

Внимательно просматривайте книгу при получении. Сообщите о замеченных дефектах библиотекарю немедленно.

*

Не выносите книги и журналы из читального зала в буфет, курительную комнату и другие места общего пользования.

*

Книги, полученные по междубиблиотечному абонементу, могут быть использованы только в читальном зале.

*

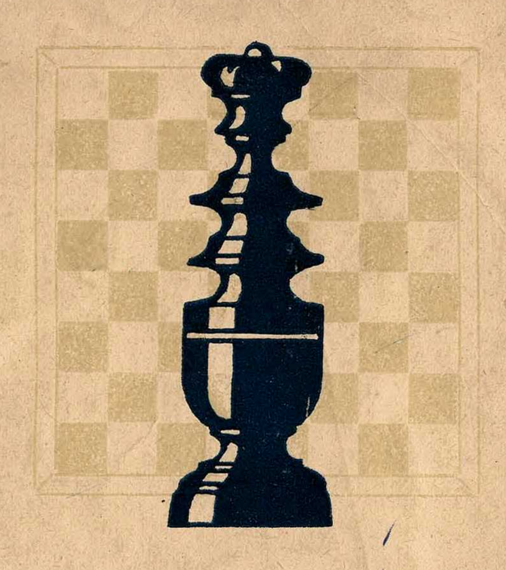
Возвращайте книги в установленные сроки.

*

В случае инфекционного заболевания в квартире абонент обязан сообщить об этом в Библиотеку.

*

Лица, виновные в злостной порче и хищении книг, отвечают по суду в соответствии с Постановлением СНК РСФСР от 14 сентября 1934 года «Об ответственности за сохранность книжных фондов».



БОРИС ДЕМЧИНСКИЙ

# ТРАГЕДИЯ ЧИСТОЙ МЫСЛИ

## (О ШАХМАТАХ)



**Книга имеет:** Тонкий карт

| Печатных листов | Выпуск | В переплетн. един. соедин. №№ вып. | Таблиц | Карт | Иллюстр. | Служебн. № | Наклад и исписка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | 6 | 32 / 236 |

Тип. Могиза, з. 1211, т. 50000

# ТРАГЕДИЯ ЧИСТОЙ МЫСЛИ

(О ШАХМАТАХ)

♙

ВСЕРОССИЙСКИЙ ШАХМАТНЫЙ СОЮЗ



БОРИС ДЕМЧИНСКИЙ

# ТРАГЕДИЯ ЧИСТОЙ МЫСЛИ

(О ШАХМАТАХ)






ЛЕНИНГРАД
Издание В. Ш. С.
1924




Ленинградский Гублит № 5970, гор. Ленинград.

я Типо-литогр. „Транспечати“ НКПС имени т. Дзержинского. Фонтанка, 17.
Отпечатано в количестве 3.000 экз.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

При всем своем богатстве, шахматная литература имеет один весьма важный пробел: в ней нет стремления постичь сущность шахмат. Два-три коротеньких изречения, мимоходом оброненные о шахматах кем-либо из философов или литераторов и уже давно заношенные в бесчисленных повторениях — вот и все, что имеется в этом направлении. В то время, как литература по теории шахматной игры весьма обширна и, по своей разработке, действительно приближается к научным высотам, — „самопознание" шахмат еще не начиналось. Между тем, на путях философского и психологического постижения шахмат, как силы, не только подчиненной воле человека, но нередко и покоряющей эту волю, можно найти много интересного.

Выпуская брошюру Б. Н. Демчинского, Всероссийский Шахматный Союз имеет в

виду начать пробиваться на этих неизведанных путях. Если даже некоторые из высказанных автором положений покажутся спорными,—тем лучше. Это явится толчком к пробуждению творческой мысли в том направлении, в котором она еще почти и не начинала работать.

*Председатель Всероссийского*
*Шахматного Союза*
*С. О. Вайнштейн*



По сравнению с другими проявлениями умственной жизни,—шахматы обладают многими особенностями. Прежде всего они фантастичны. В их основу заложена условность, ни откуда не вытекающая и сплошь выдуманная. Кто-то создал подбор фигур и приписал им произвольные ходы. Отсюда и возникли шахматы. Пусть тот фантаст, который их выдумал, будет увенчан нами как гений, все же нельзя отрицать, что здесь мы встречаемся с прихотью мысли, с ея своенравною причудою.

До сих пор не решенный вопрос о том, являются ли шахматы только игрою или их нужно причислить к чистому искусству,—разрешается более сложно, чем это обычно принято думать. Ниже искусства их во всяком случае нельзя приспустить. Им сопутствует вдохновение и та вибрация нервов, которая пробуждает к творчеству подсознательные сферы, присоединяя таким образом к четкой работе мысли еще и дар предвосхищения. Шахматы—это не одна только математика, потому что нет никакой возможности исчерпать в процессе партии все богатство вариантов, возникающих с каждым ходом. Бессмертная партия Андерсена с Киезерицким вызвала впоследствии многочисленные коментарии, с помощью которых и удалось доказать, что каждая жертва Андерсена являлась безупречной по своей правильности. Но никто не дерзнул бы утверждать, что те сложные

варианты, которые впоследствии появлялись в шахматной литературе, были до конца продуманы Андерсеном за доской. Это было бы заведомою неправдою.

В основе каждой гениальной комбинации лежит, несомненно, математика, но ея роль такая же, как и скелета, поддерживающего прекрасное тело. Это „прекрасное“ создается во всяком случае не скелетом. Поэтому шахматный гений никогда не мог-бы проследить за процессом своего творчества. От заурядных „выжимателей пота“ он отличается именно тем, что его подсознательная сфера напрягается до крайнего предела, обогащая и оплодотворяя своим творчеством работу сознательной мысли. Вообще, „расчет“ не всегда знаменует собою расчлененное и четкое движение мысли. Даже и арифметический расчет, лишенный, в противоположность шахматам, творческого начала, продвигается иногда сплошь в подсознательных глубинах, вынося в сознание уже готовые результаты. Так, известно, что в каждом поколении непременно появляются несколько феноменов, отличающихся способностью мгновенно и безошибочно производить сложнейшие арифметические подсчеты. Конечный результат как бы сразу вырисовывается в их сознании, но проследить за процессом своей работы и расчленить ее на отдельные звенья они не могут. Между тем, человек средних дарований, производящий вычисления с медлительною постепенностью, не затруднился бы изложить во всех деталях последовательность своих действий. Так и в шахматах может быть предвосхищена полнота и правильность математического вывода при условии неполноты приложенного к нему математического анализа. В этом смысле можно сказать, что

шахматный гений начинается там, где кончается граница четкой мысли.

Почти мгновенное предвосхищение лучшего хода в самом сложном положении присуще многим шахматным избранникам, и не случайно на немецком языке создался термин: „чувство позиции“. Пильсбери говорил, что, после тщательного размышления, он почти всегда останавливался на том именно ходе, который ему сразу бросался в глаза, как результат первого впечатления от создавшейся позиции. Анализом только обосновывалось мгновенное предчувствие. Вообще нужно сказать, что математический анализ ползет слишком медленно. Сверх его нужна окрыленность, нужно озарение. Работа с сантиметром в руках не даст гениального изваяния, но когда, в каком то непостижимом сочетании творческих сил, такое изваяние создалось, и притом, уж, конечно, без помощи всяких сантиметров, то к нему можно подойти с любыми промерами и они докажут безупречность осуществленных математических соотношений.

Итак—шахматы не ниже искусства. Это можно было бы доказать многими аналогиями. Но за последнее время намечается течение, стремящееся отклонить их в сторону науки. Действительно, у них имеются свои законы, такие же неумолимые, как формулы Коперника или Ньютона в отношении небесных светил. Если, в известном положении, король овладел оппозицией, тогда никакая воля, никакая гениальность не помешают исполниться предначертанным законам. Шахматная теория разработана настолько подробно, что уже может претендовать на научность.

Трудно сказать, ведет ли это к их величию или к некоторому падению. Вернее всего, что за счет

научных приобретений происходят соответствующия потери в области искусства. Чем больше заимствуется от науки, тем сильнее сжимается творческий простор, в котором искусство только и может процветать, как в своей родной стихии. Но все равно, к какому бы из этих двух царств не причислить шахматы—к искусству или науке—нужно признать, что они достигли исключительной высоты. В их современном положении, о них можно было бы сказать, что они пребывают в области искусства, примыкающего, благодаря завершенности своих формул, к научным дисциплинам.

Да, все это верно! Но из чего же создалась вся эта стройная архитектура, вся строгая и в высь устремляющаяся готика шахматного искусства? На чем покоятся эти законы чистого мышления? Оказывается, что раньше, чем приступить к созданию первого шахматного закона, весь мир должен был придти к безмолвному соглашению и принять чью то выдумку, как незыблемую основу для возведения на ней последующей надстройки. На основе тех условностей, которые были обронены чьею то причудливою мыслью, утвердилось великолепное здание. Но ведь его фундамент—такой же призрачный, как и абстракция, не имеющая нигде никакой опоры!...

На основе этой произвольной условности, закон перестает быть общеобязательным законом, а искусство становится искусственностью. В шахматах нет жизни, и вся их закономерность берет свое начало из тех же истоков, как и сновидение курильщика опиума. Быть может, именно в этом отрыве от жизни и нужно искать причину их наркотического действия. Создаются картины, не имеющие реального бытия, напрягается мысль, чтобы существовать только в

себе и для себя, в стороне от тревог и волнений человечества; расточается творчество, чтобы привести в столкновение фантастические образы и оживить движением выдуманный мир. Это — наркоз. Это—видение полноты в пустоте и игра теней.

Было бы ошибочно думать, что я пренебрежительно отношусь к самому понятию „игры". Наоборот, при всем желании, я не мог бы забыть, что многие философские школы — от скептиков начиная и кончая софистами—изощрялись в гениальной игре мысли. В их представлении весь мир становился производным от игры. Кроме того, нельзя не вспомнить, что Шиллер, а вместе с ним и часть философии романтической школы увенчали „игру" как облагораживающее начало. „Человек только тогда становится человеком, когда он играет"—таков один из основных тезисов Шиллера. Наконец, нельзя забывать, что и диалектический метод, в его зачаточных формах, исходил из игры мысли, как движущаго начала по пути к разысканию истины, пока, наконец, Гегель не поднял диалектику на высоту „трагического опыта" и не увидел в ея развертывании „всеобщего ритма предметов". Но, конечно, нельзя отрицать, что во всех этих разновидностях игры чувствовалось напряженное, а иногда и мучительное искание жизненной правды. И элеец Зенон, забавлявшийся своими софизмами, и Шиллер и Гегель имели своим партнером загадку мировой жизни, и в этом было их величие.

---

Конечно, ни игра и ни искусство не должны непременно содержать в себе элемента полезности. Относительно игры — это слишком ясно; что же

касается искусства, то оно может и должно жить только в свободе, а потому его нужно раз навсегда очистить от всяких, заранее предрешенных целей. Понятие „полезности“ его убьет, не говоря уже о том, что трудно было-бы определить, в чем именно заключается польза? Если бы даже искусство ниспадало в темные бездны, то и здесь не должно быть для него никаких запретов. Оно ищет — и потому рискует срывами; оно живет — и потому колеблется в противоположностях, разгадывая, в конце концов, ту правду, которая будет неотразима для всех веков и народов. Быть может это право искусства на соблазн, влекущий за собою хотя бы и временное падение, является спорным, но право на безполезность должно быть за ним закреплено, иначе оно погибнет в сжимающих его теснинах.

Также и шахматы без труда отпарируют всякий выпад, направленный против их бесполезности. Как игра—они безответственны и просто упиваются своим движением. Как искусство, они хотят жить в неограниченном просторе. Никто же не пристает к бредовым фантазиям Гойи и Ропса, и не отнимает права у Обри Бердслея перекидываться по своему произволу от целомудренных линий к эротическим мотивам, и не оспаривает у Данте права бродить по вымышленному им аду. Шахматы скитаются по своему царству, попадая все в новые и новые круги, и не желают они считаться с пользою, потому что избрали они себе свою фантазию и в ней творят свою пластику, свои поэмы и свои математические законы.

По сравнению с другими видами искусства, они имеют то бесспорное преимущество, что не могут упасть в безнравственность. В этом отношении они

пребывают в нейтральной полосе, куда нравственность никогда и не заходит. Другие виды искусства могут или возвысить или низвергнуть. Даже научное творчество—поскольку оно проникает в область человеческих отношений—рискует в некоторых случаях дать уродливые всходы. Светоний Транквилл написал свою „Историю двенадцати цезарей“,—одно из тех изумительных произведений, которые, сквозь однотонный шрифт печати, изобилуют красками и движением. Он писал свою историю, не внося в нее никакой страстности и лишь закрепляя в памяти потомства падение нравов Римской империи. А через семьнадцать веков после окончания его книги, перед французским судом предстал знаменитый маршал Жюль де-Рей, замучивший, во имя своего сладострастия, до 800 детей, скелеты которых были найдены замурованными в его замке. На суде выяснилось, что книга Светония впервые раскрыла перед Жюль-де-Реем соблазны извращенных половых услад и навсегда осталась для него катехизисом в его „черных мессах“. Так внезапно и своеобразно откликнулся в потомстве беспристрастный исторический труд. И уже этот один факт дает понять, насколько трудно предугадать, какое эхо начнет перекликаться в веках от любого творчества, даже и не выходящего за пределы спокойного исторического повествования.

В этом отношении шахматы счастливо избегают всяких опасностей. Лишенные дара морально возвышать, они имеют преимущество никого не увлекать к моральному падению. Такое нейтральное существование принято называть „отрицательною добродетелью“, в которой, как известно, нет ни тени, ни света. Возникшие из выдумки и неотлучно пребывающие в сфере условного — они совершенно не созвучат с

нравственным миропорядком, потому что чистое умозрение вовсе и не вмещает его в свою орбиту.

Но, несмотря на право каждого искусства, а тем более—игры, открыто и без всяких оправданий заявлять о своей бесполезности, все же, время от времени, возникают попытки доказать пользу шахмат, как школы жизненной борьбы. Кто-то хочет оказать им эту услугу, чтобы хоть чем-нибудь связать их с жизнью. Кто-то пытается согреть шахматную нотацию звуками живого человеческого голоса. Тщетная попытка! Ни ловкостью аргументов, ни остроумными аналогиями нельзя достичь их соприкосновения с жизнью. Только одно и остается бесспорным—что и в жизни и в шахматах идет борьба. Но разве первоклассный шахматист не окажется детски-наивным в житейской борьбе, если, независимо от шахмат, у него не было накоплено практического опыта, заимствованного непосредственно от жизни? Какие же основные принципы борьбы могли бы быть перенесены с шахматной доски в жизнь? Ведь жизненная борьба отличается тою особенностью, что действующие в ней правила подвержены непрерывной эволюции. Здесь каждая фигура видоизменяет свою силу и свое значение в зависимости от эпохи, что особенно ясно обнаруживается на линиях перелома истории. Сама жизнь есть ничто иное, как постоянное формирование правил. Вообще шахматы в той же степени отличаются от жизни, в какой деревянные фигуры, обладающие правом неизменных ходов, отличаются от сложнейшей и изменчивой психологии отдельных людей и народов.

Даже и в области стратегии шахматы не могли бы подсказать ничего жизненного. Великие полководцы владели тайной иного порядка, чем правила

условных ходов. Военный гений произвольно создает новые правила, применительно к каждому данному положению, действуя иногда вопреки благоразумному расчету, чтобы сбить своих, слишком рассудочных противников какою-либо чудовищною неожиданностью. Быть великим полководцем — это значит разгадывать, а иногда и форсировать то направление, в котором будут сочетаться переменные величины. Достаточно убедить каждого солдата, что у него в ранце лежит фельдмаршальский жезл, чтобы сила всех действующих фигур изменилась до неузнаваемости. Окрыленный, поверивший в подвиг человек может превзойти самого себя. И, наоборот, люди охваченные паникой, готовы все предать и растоптать, лишь бы почувствовать себя в безопасности. Это может произойти наперекор управляющей воле, которая напрасно пыталась бы приостановить сорвавшийся поток.

Но сколько еще таких сил привходит с разных сторон, чтобы двигалось в сложных вихрях то, что называется жизнью? К тому же, в этой бешенной динамике разум не всегда бывает победителем. Джиордано Бруно на костре и Галлилей перед трибуналом инквизиции—это один из тех многочисленных варьянтов жизни, когда разум проигрывает партию, имея своим партнером нелепость.

Каким же краем могут вдвинуться шахматы в этот водоворот жизни? Условные по природе и спокойные в своем безжизненном умозрении, — они, в лучшем случае, дадут только два практических назидания, а именно,—что каждая пешка имеет возможность стать королевой, и что король может быть заматован простыми пешками. Но эти банальные выводы были известны спокон веков, когда еще на историческом

горизонте не появлялись шахматы. Вообще, едва ли не к числу курьезов нужно отнести всякую попытку оценивать их как нечто, находящееся с жизнью, хотя бы и в отдаленном родстве. Эта связь была бы мыслима лишь в том случае, если допустить, что бескровное и бестелесное может естественным путем зачать от себя буйно пульсирующую кровь и тело.

Правда, шахматы могут воспитать выдержку, но к их конфузу нужно заметить, что тем же свойством отличается не только всякая вообще борьба, но и драка на ножах, практикуемая, в качестве праздничного развлечения, среди некультурных племен. Притом, очень трудно решить, могут ли шахматы воспитать выдержку в человеке, не обладающем, по природе своей, склонностью к методичности и системе. И, быть может, величайшие шахматисты вовсе не потому отличались выдержкою, что прошли шахматную школу, а, наоборот, первенства в мире они достигли только потому, что, в числе своих исключительных свойств, принесли с собою выдержку, как основное свойство своего характера. О простых смертных—простых, конечно, только в области шахмат,—говорить в данном случае не приходиться. Лев Толстой уделял шахматам сравнительно много времени и увлекался ими, но во время игры был жалок именно благодаря своей несдержанности. Даже и в мире профессиональных игроков, шахматы оказываются бессильными успокоить несдержанную натуру. Их дисциплина не смогла укротить Чигорина, и он ушел из них также, как и вступил,—с печатью гения, с неосуществленными надеждами на мировое первенство и с неожиданными партиями, которые он, с присущим ему блеском, доводил до выигрышного положения, а затем ухитрялся проигрывать.

В партиях, которые он играл по консультации со Стейницем против Ласкера и Пильсбери, сказалась вся его неугомонная природа. Даже Стейниц потерял свою обычную сдержанность под влиянием его горячности и поспешности некоторых его решений. Слово „консультация" менее всего подходила к тем исступленным выкрикам, которыми сопровождалось это сотрудничество. А в то же время, в соседней комнате, где сидела другая пара игроков, было почти полное безмолвие, лишь изредка нарушаемое скупо роняемыми словами. Конечно, обе партии Чигорин и Стейниц проиграли. Впоследствии, давая комментарии к этим партиям, Чигорин сознавался, что того или иного хода, ведущего к выигрышу, „ни он, ни Стейниц не заметили". Конечно, иначе и быть не могло. Всякая надежда на ясность мысли утрачивалась среди того ажиотажа, который исходил от одного из них и, как нервная зараза, захватил другого. Но зато в тех случаях, когда Чигорин находился в условиях вынужденной выдержки — он обнаруживал всю полноту своей гениальности.

Так было в двух партиях, которые он выиграл по телеграфу у Стейница. В той партии, где он пожертвовал ферзя, путь к выигрышу был неясен даже и для первоклассных шахматистов. Чигорин рассказывал мне, что выигрышные варьянты, подтверждавшие его победу при любых ответах противника, лежали у него в ящике стола, когда к нему зашел с дружеским утешением Шифферс, уговаривая его не падать духом из-за вероятного проигрыша этой партии, так как положение второй партии, игранной одновременно, ясно указывает, что она будет проиграна Стейницем. Это участливое посещение Шифферса имело такой же вид, как если бы слепой

пришел утешать зрячего в ошибках зрения. Так в действительности и было. Даровитый человек пришел к гению. Но если бы этот гений вел ту же партию за доской, то исход ее был бы неизвестен. Играя по телеграфу,—без часов, отсчитывающих каждую минуту, затраченную на обдумывание ходов, без волнующей обстановки, без публики, — он был поставлен в такие условия, в которых менее всего могло сказаться на его игре отсутствие выдержки. Но здесь гений разворачивался за счет благоприятных внешних условий, а не в силу перевоспитания своего характера.

Итак, при некоторой доле беспристрастия едва ли останется хоть тень надежды уловить в шахматах какой нибудь намек на школу жизни. В произвольности, а следовательно и безжизненности их законов заключается их первородный грех. На веки-вечные обречены они пребывать в области фантазии, и в этом смысле они несут на себе печать трагедии. В них есть вдохновение, сопутствующее искусству, в них есть незыблемые законы, возвышающие их на степень науки, но из этих слагаемых, в конце концов, получается игра.

Одно только несомненно,—что они владеют тайной обольщения, против котораго не могут устоять даже и трезвые умы. Очевидно, что в сфере чистой мысли они имеют какое-то преимущество перед другими областями умственной жизни. Прежде всего бросается в глаза, что, выдвигая борьбу умов, как свою первооснову, они ставят эту борьбу в такие условия, которые обещают чувство удовлетворения каждой из сторон, вступивших в состязание.

---

Ни в одной области умственной жизни нет способа измерять силу творческой мысли. Только в шахматах найден метод сравнительной и—что особенно важно — бесспорной оценки умственных дарований. Итог борьбы — выигрыш или проигрыш партии — является тем объективным мерилом, которым определяется степень шахматного избранничества. Это, конечно, тоже одна из условностей, потому что одаренность не всегда может быть уловлена с помощью статистики. Трудно сказать, не был ли Чигорин более одарен от природы, чем Стейниц и Ласкер, но статистика поднялась против него, и потому его голова не была никогда увенчана шахматною короною. Быть может и более одареный, он, очевидно, не обладал тою суммою признаков, которые требуются от борца.

В ненаписанном шахматном кодексе, сама собою подразумевается та, чисто Дарвиновская мысль, что для побежденного не может быть никаких оправданий. Проиграл ли он из-за катарра желудка, или вследствие приверженности своей к каким либо наркотикам, затуманивающим мысль, или, наконец, благодаря своей влюбленности, одаряющей его блаженством иного порядка—не безразличны ли эти интимности, когда выигрыш партии является единственным и все покрывающим абсолютом, сквозь который не должны просвечивать никакие частности?

После проигрыша мачта Стейницу в 1886 году, Цукерторт произнес на банкете в Лондоне речь, в которой сказал, что он не хочет „ни извиняться, ни оправдываться". Это было хорошо сказано. Правда, сейчас же вслед за этими словами он смалодушествовал и упомянул, что не был очарован климатом в Нью-Орлеане, где он чувствовал себя „просто подавленным". Дальше он не упустил случая отметить,

что его противник сравнительно легче переносил тяготы знойного ветра, и, наконец, высказал надежду встретиться со Стейницем „на английской земле, при условиях, одинаково благоприятных для обеих сторон“. Из деликатности, его, конечно, выслушали и, быть может, поверили, что королевская корона была бы ему к лицу, но статистика сделала свое дело, отбросив его эллегические излияния с тою же механичностью, как выносят валерьяновые капли, вместе с другими пузырьками, из комнаты умершего. Попытка отыграться на климате повторялась затем неоднократно, и даже в наши дни вновь промелькнула эта неудачная диверсия, впрочем, как и всегда, безуспешная. Хотя шахматы и игра, но в своих приговорах они придерживаются чисто-формальной, а следовательно и крайней жесткости. И отсюда, из этой безжалостности к побежденному, рождаются уже не шахматные, а человеческие трагедии, достигающие своего крайнего напряжения при борьбе за мировое первенство.

Шахматист—это сумма признаков. В его партии все найдет свое отражение,—от изысканного прожигания жизни, до самых вульгарных случайностей, не исключая и клопов, которые не давали спать всю ночь накануне решающей партии. И если статистика признана верховным арбитром, то в ней гаснут частные причины и восстает единый синтез.

Здесь нельзя не вспомнить, что та же абсолютность конечного результата провозглашается и всякой вообще борьбою, — от смертельных схваток гладиаторов до безобидных спортивных состязаний,—но никакие параллели из физического мира неприложимы к шахматам. Как чистая мысль они стоят безмерно выше всех конечных измерений и могут быть сравни-

ваемы только с другими видами умственной деятельности. И при таком сравнении выясняется, что нигде в других областях умственной жизни нет ясных признаков, на основании которых можно было бы сравнивать между собою однородные дарования. Даже наиболее знаменитые диспуты не дают права утверждать, что кто-либо одержал верх, хотя бы и получилось впечатление чьей то бесспорной победы. Но так как это только „впечатление“, то результат получается всегда смутный.

В споре Кювье и Сент-Иллера, — в том знаменитом споре, об эволюции живых организмов, который заслонил перед Гете французскую революцию,— победителем остался Кювье, но не сошло в могилу и двух поколений, как оказалось, что должен был бы победить Сент-Иллер. Абеляр, с таким изумительным блеском победивший в диспуте своего учителя по философии Гильома де-Шампо, застал через два года своего поверженного противника процветающим в монастыре Сен-Виктор, где престарелый профессор основал свою школу и имел много последователей. Люди просто разделились по впечатлению: кто пошел за Абеляром, а кто — за Гильомом де-Шампо. Вообще не может быть ничьей победы там, где люди судят по впечатлению. В самом деле, кто выше: Пушкин или Байрон, Штраус или Вагнер? И чем исключительнее и однороднее дарования, тем бесправнее будет суд, присуждающий первенство одному из соперников.

Только шахматы обладают точным сравнительным методом и ясной реализацией дарований, хотя бы и различающихся друг от друга едва уловимыми измерениями. Их приговор—это идеал беспристрастия. Сотканные из умозрения и в умозрении пребы-

вающие, они достигают той безупречной правды, которая возможна только в мире умозрений.

Эта прельщающая особенность шахмат влечет к ним с неодолимою силою. Утеха самолюбия при победе играет, конечно, некоторую роль, но это нужно рассматривать как „побочный продукт производства". Неизмеримо важнее чувствовать победу не как исход встречи двух субъектов, а как объективный показатель своего роста. В центре должно быть поставлено: „я росту". Это самое ценное для глубин самосознания, а скальпом противника можно любоваться не долго, или, еще лучше, вовсе не любоваться. Ведь каждый поверженный противник заставляет вспоминать, что впереди имеется еще много противников и притом более сильных. Таким образом, каждая победа есть вместе с тем и возбудитель к дальнейшему подъему. В победе вмещается и достижение цели, и немедленное раскрытие новой, еще более заманчивой цели. Видеть объективные признаки своего роста—это значит стремиться еще больше рости. Здесь есть что-то, напоминающее утоление жажды солоноватой водой: в первый момент как будто наступает удовлетворение, но затем жажда пробуждается с новою силою. Чаша с пресною водою, вполне утоляющей жажду, дается только один раз,—когда шахматист достигает первенства мира.

Но не только одним объективным подтверждением роста завлекают шахматы в свои недра. Они, кроме того, владеют тайной постоянного обнадеживания, благодаря чему устремление вперед поддерживается в неослабном напряжении. Весь секрет в том, что к успеху они ведут по мелким ступеням, создавая впечатление сравнительной легкости прогресса. В основе, это, конечно, обман, потому, что

от первой ступени до последней — расстояние огромное, но иллюзия легкости восхождения создается главным образом благодаря расчленению всего предстоящего пути на мелкие этапы. Игроку низшей категории кажется, что, ценою сравнительно небольшого усилия, он может перейти в следующую категорию, а когда и эта цель будет достигнута, то, на ряду с чувством победности, у него снова окрепнет иллюзия, что до ближайшего, более высокого уровня „рукой подать". Шахматы не пугают большими дистанциями. Они затягивают постепенно, с умным расчетом, премируя каждый успех, и вселяя таким образом бодрость к новому продвижению. Они могут всецело овладеть человеческою жизнью,—от юных лет и до смертного часа,—но возьмут они ее по маленьким кусочкам, вознаграждая за каждое, самое незначительное достижение и дразня близостью высшей ступени.

Итак, метод объективной оценки выделяет шахматы из других областей умственной жизни, а способ постепенного и очень тонкого вовлечения в свои глубины дает им силу всецелого поглощения мысли и воли человека. В этом—обаяние шахмат, их чары, власть которых является для многих неотразимой. Но бесстрастный разум не может скрыть от себя цену этих чар и, несомненно, сделает попытку их расколдовать. Он прежде всего установит, что шахматная победа, каким бы великолепием она ни отличалась, не соприкасается с жизнью ни в одной своей точке и потому сама по себе является иллюзией. Далее он укажет, что сладостное самозабвение, которое дают шахматы, возможно только в процессе роста, в непрерывности поступательного движения, и немедленно рассеивается, когда кривая роста, перегнувшись

за свою кульминацию, устремляется вниз. И эта приостановка победности сразу отрезвляет от того опьянения, которое поддерживалось возроставшими успехами.

Остановка роста заставит оглянуться назад и беспристрастно оценить пройденный путь. Конечно, здесь речь идет не о тех, кто смотрит на шахматы как на забаву, а кто отдает им всю свою глубину. И чем больше отдано сил, чем полнее жертва,—тем страшнее трагедия, которая может разыграться при падении. Шахматная доска и деревянные фигуры заполняют в прошлом весь кругозор. Но что такое шахматы? Искусство, наука? Пусть будут присвоены им высшие аттрибуты, все же в их основу заложена только игра. Мираж тоже имеет свою красоту и свои законы, но и его красота и его законы даны в иллюзии. И если сюда ушла вся жизнь, то не растрачена ли она сплошь на иллюзии?

---

Шахматы не нуждаются в сокрытии этого трагического мотива и было бы безумием утаивать его во имя внешнего благополучия. По природе своей, они действительно вовлекают в трагедию всех тех, кто беззаветно им отдался. А что такая развязка вообще бывает—в этом нельзя сомневаться. Утверждают, что даже и никем не побежденный Морфи, в последние годы своей жизни, впадал в неистовство, когда при нем упоминали о шахматах. Он уже был душевно больным, но этот надлом психики ни с какой стороны не убавляет правду той трагической раздвоенности, которая терзала его внутренний мир. Надорвавшийся мозг иногда правдивее нормальной мысли, для которой, если и не явный маскарад, то,

во всяком случае, тонкий самообман является привычным делом. Но, вот, и еще одна страница, нам более близкая. Это—Чигорин. Перед смертью он метался в бреду, а когда очнулся, то прежде всего потребовал, чтобы его шахматы были немедленно сожжены. Он не успокоился до тех пор, пока не исполнили его требования. После этого он затих и вскоре умер. С такими символическими кострами, сжигающими содержание всей жизни, Россия встречалась не раз. Гоголь, сжигающий свои литературные труды, является в этом отношении первенствующим, но не единственным.

И еще глубже можно продвигаться по этому пути. Характерна трагедия Стейница, потерявшего, как известно, на старости лет свое мировое первенство в состязании с Ласкером. Что у Стейница помутилась психика после пережитого им потрясения—это общеизвестно, но здесь почти жутки, хотя по виду и тихи первые признаки его душевной болезни, о которых мне рассказывал Чигорин, присутствовавший в Москве на матче, где решалась судьба шахматной короны. Чигорин передавал, что, после проигрыша матча, Стейниц заявил, что если Ласкер одолел его в шахматы, то он, Стейниц, победит Ласкера в философии. И, вот, старик, доживший до тех лет, когда смерть является уже нормальным исходом, отправляется по магазинам искать первоначальное руководство по философии. Он собирается начать совсем новую жизнь. Не владея ничем, кроме шахматного мышления, он мечется в поисках нового жизненного содержания, которое заполнило бы провал, вдруг раскрывшийся в его внутреннем мире после того, как шахматы разоблачили перед ним всю свою иллюзорность.

Это было, конечно, безумие, но безумие, заключавшее в себе большую жизненную правду. Оглянувшись на свою жизнь, он увидел шахматную доску, покрывшую собою и молодые годы и расцвет сил и старость. Не было другого движения в его жизни, кроме безшумного движения шахматных фигур. В процессе предшествующего роста все было для него наполнено эмоциями, и победы давали удовлетворение; в минуту падения прояснившийся взгляд подсказал, что жизнь не оправдана. Но было уже поздно искать для нее другого наполнения. Занавес уже опускался.

Когда Чигорин рассказывал об этом, то не мог удержаться от смеха. В ту минуту он не предвидел, что будет невероятно торопиться перед смертью с уничтожением своих шахмат. Его самого коснулась трагедия, которую он так не понял в Стейнице. Но в чем же завязка всех этих трагедий, которые тяготеют над шахматными избранниками? И виноваты ли здесь шахматы, или же сами люди допускают какое то первоначальное безразсудство, которое, с течением времени, сгущается до трагедии?

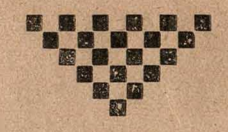
Конечно, виноваты сами люди. Почти безошибочно можно предвидеть, что к верной гибели направляется каждый, кто целиком, с полною беззаветностью отдается шахматам. Нельзя безнаказанно заполнять ими весь свой кругозор, потому что сами они не имеют реального содержания. Отдаваясь им, необходимо направить какую то часть своих умственных сил и интересов по другому руслу, проложенному в пластах подлинной жизни. Даже и в других областях умственной деятельности одностороннее направление должно рано или поздно завершиться чувством неудовлетворенности, но там этот крен на один бок никогда не грозит катастрофою, тогда как

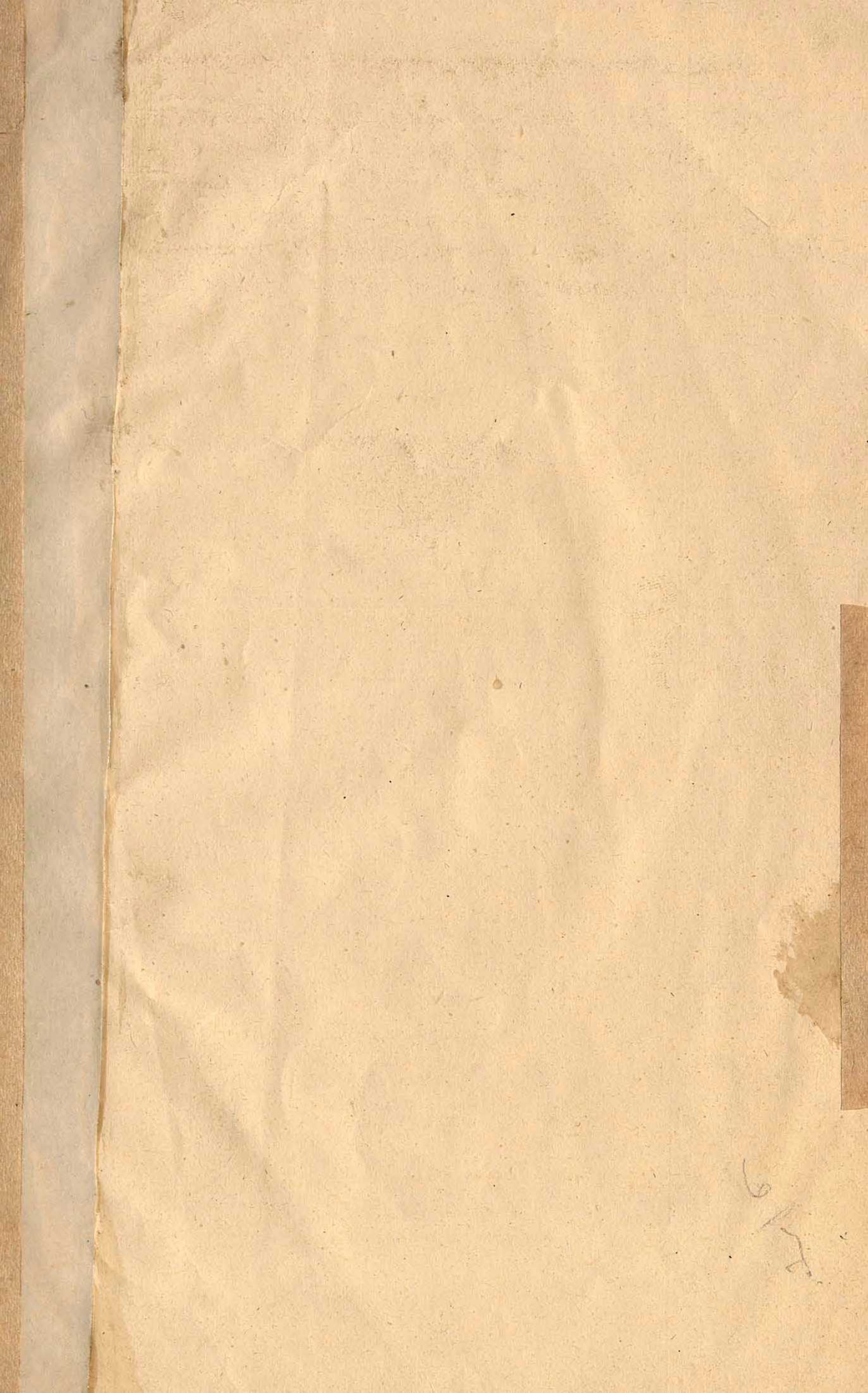
в шахматах, при их безраздельном господстве над жизнью, крушение будет неизбежным. Они погубят, если не создать им противовеса. Какой либо резерв умственных интересов при них необходим. Поэтому, к высшим степеням шахматного посвящения может бесстрашно подниматься только тот, чей внутренний мир построен в гармоническом сочетании. Тогда, в минуту шахматного срыва будут вызваны резервы и спасут от провала в пустоту.

Так и разделяются шахматисты высшего посвящения—на людей с резервами и людей без резервов. Трагические мотивы исполняются главным образом над теми, кто имел неосторожность отдаться шахматам безраздельно. В этом отношении Чигорин и Стейниц особенно характерны. В противоположность им, Ласкер построил свой внутренний мир и весь вообще план своей жизни по законам гармонии. Был период, когда он временно отодвинул от себя шахматы, потому, что работал над своею диссертациею по математике. Известно также, что вопросам философии он отдавался с большим интересом. И это богатство резервами спасло его от катастрофы. Потеряв первенство мира, он, несомненно, испытал всю значительность этой пробоины, но сейчас же выправил крен. Его жизненность не увяла и бодрость духа не сменилась унынием. Он не будет сжигать шахмат перед смертью, ему не за что им мстить. Они дали ему то лучшее, что могли дать, а их трагедию он предусмотрительно избежал, потому, что не вложил в них всего смысла, всей цели своей жизни.

Таким образом, шахматы учат чему то большему, чем игре. Сгущая свои трагические задатки, они научают строить свою жизнь на началах гармонии. И поистине страшно за тех, кто отдается им во

власть, не обеспечив себя никакими резервами. В шахматах это обнаруживается трагичнее, чем в других областях, но и вся вообще жизнь могла бы принять от них это великое назидание. Это единственная точка, в которой они соприкасаются с жизнью, возвышаясь до степени ее учителя.





СКЛАД ИЗДАНИЯ:
Москва. Большая Дмитровка, угол Камергерского пер., д. 5—7.
(Универсальный книжный магазин).

